

ТАТА¹

Дедушка Якуб заметно сдал: стал реже выходить во двор. Болел астмой и почти ослеп, но знал место каждой вещи в доме и различал запахи тоньше прежнего. Едва внук вошёл, дед нащупал его, обнял, шумно вдохнул запах его волос — уличный, холодный:

— Значит, лету конец, си кӀалэ²?

— Ещё есть пара дней, тата, — ответил внук.

Дед медленно говорил по-русски, с едва заметным акцентом. Был по-юношески сух и поджар. В комнате стоял тёплый полумрак. На гвозде — выстиранный платок, под кроватью — знакомый деревянный ящик, по-солдатски тяжёлый. Коврик уже был расстелен; суставы щёлкали, когда он опускался на колени. Паузы между движениями были те же, что между его фразами. После молитвы он выждал секунду, достал из-под кровати бутылку, плеснул в ложку.

— По столовой — от бронхов, — сказал и поморщился, будто водка виновата в сырости за окном. — Бог видит, не ради веселья.

Он всегда говорил отдельными словами — штрихами, из которых внук потом собирал картину. Иногда казалось, что дед нарочно недоговаривает.

— Посмотри лампу, — сказал дед.

Внук взял настольную лампу, присел на табурет и принялся чинить: провод переламывался у выключателя, искрил. Дед сел на кровать и дважды, по-детски, болтнул ногами.

— В такую погоду печать хуже берёт. Сырость лезет в штемпель, буквы расползаются.

Внук поднял голову.

— Какая печать, тата?

— Которую рукой дают. Слово без печати — ветер. Ты лампу крути, крути, не бойся, — буркнул дед. — Что искрит — не значит, что убьёт.

Внук отрезал кусок истёртого кабеля и соединил заново. Щёлкнул — лампа загорелась. Он отставил её в сторону, накинул куртку, толкнул плечом

¹ Дедушка (адыг.)

² Мой мальчик (адыг.)

разбухшую от сырости дверь и вышел во двор за дровами. Дед предпочитал топить по-старинке. Скоро в печи потрескивали поленья, и комната наполнилась сухим дровяным жаром.

Дед довольно крикнул. Осенью он становился разговорчивее, будто без листвы было больше пространства. Правда, его разговорчивее — это три лишних предложения.

— Тогда тоже сентябрь был. Дым, мокро, всё в тянучей паутине. Привезли... — он провёл пальцем по скатерти, как по карте. — Не успели испугаться — уже на лавке хлеб жуют. Хлеб тянется — значит, мука не вчерашняя.

— Кого привезли? — спросил внук.

— Детей. Обоз разбили, детдомовские, шли на юг, да не успели. Немцы в аул зашли.

Внук придвинулся ближе, сел рядом, чтобы слышать дыхание. Дед чуть кивнул — можно.

— Имена непривычные: Моше, Авраам, Сара. Все разные, запах один — как у мокрой шерсти.

Он редко называл имена. Все у него были «та», «тот», «он — она». Внук знал: если переспросить, дед замолчит. Поэтому просто ждал, как ждут дети, пока усядется осадок в стакане компота.

— Староста пришёл с книгой, — продолжил дед. — Книга сырая, листы пухнут. Говорит: «Пиши». А рука не слушается. Неладно писать, когда не ты родил. Он взял сам. Написал, поставил печать. Нажал так, что картон в столе продавился. Сказал: теперь — ваш. Бумага не врёт.

Дед на минуту примолк, глядя куда-то вдаль.

— У женщины руки были — как тёплый хлеб. Слышишь? — он перевёл взгляд на внука. — Шершавые, но мягкие. Она говорила мало. Сначала — вообще молчала. Только дверью ходила: открыла — закрыла. К печи — от печи. Детям — воду. Одному мальчику — платок на шею. «С кашлем не бегай», — сказала и не посмотрела. Потом она хлеб ломала, и ломтик на ладонь клала — не в тарелку.

Он вздохнул, будто тянул из глубины что-то тяжёлое.

Внук выждал, потом пошёл на кухню. Поставил казанок, налил воды, бросил щепоть адыгской соли. Пока вода шептала, нашёл в кладовке кукурузную крупу — сухую, тёплую на ощупь. Вернулся, снял крышку — пар ударил в лицо. Тонкой струйкой начал сыпать крупу, помешивая

деревянной лопаткой, чтобы не взялась комками. Каша густела неторопливо, будто подстраивалась под осенний ритм.

На столе уже лежали пучки зелени. Внук промыл их, встряхнул над раковиной; запах свежего сена и мокрой земли встал стеной. Растолок зубчик чеснока — резкий дух пробежал по кухне, смешался со сладостью кукурузы. Нарезал адыгейский сыр. Вскипятил чайник, бросил в заварник горсть чабреца: сразу потянуло горной горечью и мёдом.

Каша дошла: тягучая. Он переложил её на широкую тарелку, сделал ложкой «гнездо», положил туда ломтики сыра, посыпал зеленью. Сверху — кусок жёлтого сливочного масла, чёрный перец — только чтобы чихнуть один разок и взбодриться. Рядом — чабрецовый чай.

— Ешь, тата, пока теплое, — сказал внук, подавая тарелку.

Дед ел медленно. Потом отложил ложку, вытер губы платком, кивнул на коврик. Они вместе совершили намаз. Дед вставал и опускался теперь осторожно, словно считая суставы. После молитвы посидел, перевёл дыхание и сказал, не глядя:

— Тогда комендант пришёл. Пах одеколоном. Говорил ровно, с акцентом. Бумажный был человек: цифры любил, подтянутый, аккуратный. Сапоги блестят. Пальцы в чернилах — будто чужие имена ввелись. И староста с книгой.

Дед повёл носом, будто примеряясь к запаху тех дней. Подтянул к себе чашку, подул на чай и замолчал — ровно настолько, чтобы внук понял: рассказывать будет дальше.

— Кто-то плакал — тихо, как мышь. Кто-то спал сидя. У одного ботинок был, у другого — нет, ноги в газетах. Кто-то про маму шептал, кто-то — воды. Имена... — он покачал головой. — Как горох по полу. Скатились — не собрать.

— Куда их потом? — спросил внук тихо.

— Разобрали... Сначала — староста с книгой. Потом — женщины. Мужики держались в стороне, у ворот. Стеснялись смотреть. Староста спрашивал: «Сколько возьмёшь?» Это он женщине. А она: «Сколько дадут». И так по дворам пошли.

Дед провёл ладонью по колену. Помолчал, снова отпил чаю.

— Одного — к учителю: у того стол длинный, места много. Девочку — к вдове, у неё две девки — третья не помешает. Близнецов — в дом богатый: «Нам двоих под силу», — сказала хозяйка и покраснела, будто просит

прощения. Мальчика, что молился губами, — к мулле. Он сказал: «Молитва — мост».

— Никого не оставили? — спросил внук.

— Почти все были смуглые, большеглазые — сливались с местными. Но один — светлый: кожа молоко, волосы соломой. Женщины переглянулись, староста бровь поднял: «Такого комендант издалека увидит». Одна сказала: «Ничего. Сделаем». Зола из печи — тёплую, с каплей воды — по лбу, по щекам, по ушам тонко. Волосы — под шапку. Ладони натёрли ореховой перегородкой. Сказали, лицо не трогай. Зубы не показывай. Глаза — медленнее.

Дед глотнул чаю, мокнул ложкой в мёд, замер не моргая.

— На улице светлый уже был не светлый, а просто мальчик в шапке. Комендант, проходя, скользнул взглядом. Только у двери остановился, понюхал воздух: «Дымом тянет». Староста ответил: «Осень. Печи топят».

Дед улыбнулся.

— Светлого тоже забрали? — спросил внук.

— Она сказала: «И этого давай». — «Потянете?» — «Как Бог даст». — «Муж твой?» — «На войне».

— Потом начали учить языку. Говорить — короче, слушать — дольше. Вечером — у муллы: первые строки «аль-Фатихи», приветствие и прощание; произнести ровно, без чужого звона. «Скажешь — потом иди», — говорил мулла. Осенние проверки проходили сухо: шапка надвинута, ответы — почеркесски, прощание — как учили. Комендант сверял с бумагами, но не цеплялся. Староста шептал: «Сошлось». Моше стал Мусой. Абрам — Ибрагимом. Путаница сначала была. Но дети быстро привыкают. В соседнем ауле детей нашли. Сказали — списки не сошлись. Ночью пришли, забрали. Дом опечатали, а хозяев...

Дедушка Якуб оборвал фразу на полуслове, посмотрел за окно — там уже густел вечер, — поднялся и кивнул на коврик.

— Потом, — сказал. — Время молитвы.

Он омыл руки, встал на коврик, но внука не позвал. После сел на край кровати, упёрся ладонями в одеяло, долго слушал, как печь доедает последнее полешко, и откинулся.

— Старость — маленький день. Остальное — сон. А утром, кажется, обход, — сказал дед, как бы себе.

Внук погасил лампу. Комната выровнялась в тёплую тьму. Он лёг на узкий диван, укрылся. Сначала снились дети — шмыгающие, смешливые, с чёрными от сажи лбами; они скакали по лужам, как по нотам. Потом небо над аулом стянулось свинцом, и где-то за огородами ударило. Внук вскочил — в окне белая вспышка, следом рваный гром. В печи что-то звякнуло, и стало снова темно.

Утро пришло чистым. За окном светло — ни ветра, ни облачка. Дед встал раньше. На столе — кукурузная лепёшка, адыгейский сыр, мёд в банке, чай в заварнике. Поели молча. Дед утер губы, придвинул чашку и продолжил:

— Был один — тихий человек. Любил считать чужие пороги. Приходил вечером, когда печи пахли супом, и говорил: «Где дети? Проверка скоро. Бумага любит порядок. А порядок — уважение». На слове «дети» заметно запинался и смотрел на полку, где лежал хлеб. Брал негромко, пряча лицо за шапкой. Уходя бормотал: «Ещё благодарить станете. Уважение — это когда молчат». Он так выбрал...

— Он... носил сведения? — спросил внук. — Местный, наш?

Дед поморщился и слегка кивнул.

— Нет его уже давно. А семья хорошая. Все жили трудно. Хлеб растягивали. Суп — одна вода. Кости сушили на печи, толкли, подсыпали в похлёбку — для силы. Дети почти не росли. Проверки шли чаще дождя. «Сколько?» — «Столько». «Все ли?» — «Все». Староста книгой прикрывал.

Внук подлил чаю.

— Потом немцы ушли. Утром были, к вечеру — нет. На дорогах остались колеи и пустые банки от консервов. Наши пришли — староста пропал. Детей повезли обратно в Ленинград — длинной тропой, по именам, которые удалось сохранить. Одни уехали — в пальто на чужое плечо. Другие — остались. Кто прижился к печи, кто к слову, кто к ладони.

Дед отставил чашку, посмотрел прямо. В комнате стало тихо — слышно, как за окном падают капли. Дед поднял ложку, глянул в кривизну, как в маленькое зеркало, и добавил:

— Светлый Яша — Якуб — остался. Я остался.